

Глеб Алексеев

Дунькино счастье



Глеб Алексеев
Дунькино счастье

«Public Domain»

1926

Алексеев Г. В.

Дунькино счастье / Г. В. Алексеев — «Public Domain», 1926

«— У меня, мил-моя, такая пролетарская происхождения – даже самой удивительно – какая я чистокровная пролетарка. Уж такая пролетарка, такая пролетарка, – ни одной подозрительной кровиночки во всём нашем роду не сыщешь. Что по матери, что по отцу. Все сызмальства крестьянством на подбор занимались, а тесть даже и скончался в пастухах. Скажет ему, бывало, Захар Кузьмич – был у нас на селе лет тридцать назад лавочник, кулак страшный: «Торговал бы ты хоть дёгтем что ли, – скажет, – что за жизнь: коровам хвосты крутить». А тесть мой в ответ: «Дык ведь как сказать, Захар Кузьмич, как они коровки-то обернутся, ты её дёрнешь за хвост, она и обернётся». А оно вон и вышло – как обернулись!..»

Глеб Васильевич Алексеев

Дунькино счастье

– У меня, мил-моя, такая пролетарская происхождения – даже самой удивительно – какая я чистокровная пролетарка. Уж такая пролетарка, такая пролетарка, – ни одной подозрительной кровиночки во всём нашем роду не сыщешь. Что по матери, что по отцу. Все сызмальства крестьянством на подбор занимались, а тесть даже и скончался в пастухах. Скажет ему, бывало, Захар Кузьмич – был у нас на селе лет тридцать назад лавочник, кулак страшный: «Торговал бы ты хоть дёгтем что ли, – скажет, – что за жизнь: коровам хвосты крутить». А тесть мой в ответ: «Дык ведь как сказать, Захар Кузьмич, как они коровки-то обернутся, ты её дёрнешь за хвост, она и обернётся». А оно вон и вышло – как обернулись! Удивительный сознательным старик был, и всё, бывало, нюхает табак и молчит, от него и я загадочно молчать попривыкла. Так мы все в дедов и вышли – крепко приверженные к своему классу, да только в деревне какое же житьё! Вот начну я так-то иной раз вспоминать свою жисть с самых пелёнок, – веришь ли, мил-моя, так защемиет сердце, захолонёт словно пойманный птенчик... По брови в снегу жили, а летом, в поле с тоски удавиться можно: никакого удержу у нас полям нету, кроме неба... А хозяйство опять же обыкновенное, – никакое, можно сказать, хозяйство: лошадёнка – воз больше на себе везёшь, корову только-только перед германской войной купили; да на беду не взяли в мобилизацию отца, – многие у нас в войну бабы от детей отдохнули, ну, однако, отец остался, и почали тут одна за другой рождаться дети, и больше девчонки... Мать, бывало, только с пузом и ходит да плачется: «И на кого я вас, оглашенные, рожаю?..» Конечно, и мёрли, а всё же пятеро осталось, в одну одёжку по очереди влезали. И всех-то я их вынянчила и росла-то так до шестнадцатого году – от одной люльки к другой, сестричек своих пестовала, и только и радости бывало, что пойдёшь в поле, а поле у нас, говорю, страшное огромное, от Зелёной Слободы кидается в овраги, и по оврагам кусты, – нарву там цветочков, курослепа какого, иван-да-марьи, дикой черёмухи, и бреду опять в сумлении к своим люлькам. И очень было мне тягостно, когда подойдёшь к своей избе с цветочками в руках, а плетень сломан, под сараем колесо валяется, окно в избе подушкой заткнули, а на дворе, словно червяки в пыли, мои прекрасные сестрицы...

Задумаюсь, бывало, я вот так-то о человеческой своей судьбе, – самой страшно: какие в голову мысли лезут! Очень я рано задумываться начала – маменькина-то жизнь вот она, перед глазами... Смотрю, как она в жёлтой своей кофтёнке – поповна ей дала за мытые полы, она в той кофтёнке всеё своё жисть проходила – смотрю я на неё, как она картошь перебирает, или навоз с-под-коровы чистит, – руки у неё чёрные, в узелки завязлись, лицо восковое – враз с картины страшного суда, зуба ни одного не осталось, всем кошельком жуёт, и только один живот тяжёлый в ней и есть. Смотрю на неё и плачу: «Ох, охоньки мне, девушке, не такая ли счастье меня ждёт, судьба моя из маменькиных глаз проникает». А в девках я прекрасная хорошая была; запою, бывалача, – парни только рты поразинут, стоят словно ошпаренные; коса моя всем девкам на зависть; и в руках замечательная проворная была: горшки ли в печи, чугуны с бельём проворочать? А в поле с серпом наперёд всех уйду, так и врежусь рекой в горячую рожь. Да только к чему ж она, красота-то на деревенском дому? На деревне красотой судьбы своей не изменишь... И стала я так задумываться да размышлять; сижу, бывалача, на завалинке, качаю Алёнку, там, или Маньку, у ног моих цыплята землю скребут, тоже жизни просят, в доме нету никого: на покос уехали, греет солнышко мою щёку в слезах, а перед глазами у меня туман, – вредный туман, как на реке, поднимается, – и так мне жутко станет среди бела-то дня, будто вечером я и одна в реке, в Чёртовом Яру купаюсь. Ух, ты, поле, поле большое, ох, судьба ты моя неизвестная!.. А она, судьба-то, очень известная, какая на деревне судьба! – все на глазах у соседей прожили, всякому загодя известно, что его ждёт. Вот, думаю, выйду и я замуж, буду

рожать почём зря, а сама буду длинная да страшная, и глаза у меня завалятся, как на иконе, и будут у меня в сундуке спрятаны полсапожки и шаль, и буду я их надевать на праздники, – и так и помутнеет от той мысли в глазах, и так страшно станет, что будто не жимши я, а прожила уж, – такая у нас на деревне, всем известная наша судьба!.. А исполнилось мне шешнадцать лет, стал тятенька туманные слова заговаривать: «Очень, говорит, ты на мене не надейся, потому много вас у меня растёт, чересчур даже много жизни вокруг меня подымается, а ты, говорит, девка уже на выданьи, по только время теперь очень самостоятельное, и можешь ты сама правов добиться от жизни, а богатство твоё в твоём девичьем блюдце только заключается, если, например, оно у тебя целое». Поняла я тут, что на лошадь он намекает: «Не дам, мол, тебе лошади, как замуж пойдёшь, не надейся, мол», – и загрустила ещё больше. Только бы, думаю, вырваться куда из села, и тогда предстанет моей жизни новая деталь, и не будет у меня маменькиного заветного сундука, а она уж тот сундук опорожнила, чтоб приданое мне собирать, и не видит, конечно, что я на тот сундук взираю со слезой, что в нём-то моя темница и спрятана.

– Маменька, – говорю, – не собирайте мне ваш сундук, я в мечте другое имею...

– Дура ты, – отвечает, – на тот сундук Наталка засматриваться начинает, – четырнадцатый год девке... что ж от своего счастья отказываешься?

– Маменька, – говорю, а сама плачу чисто весенний какой ручеёк, – нет мне счастья на дне вашего сундука... Всеё жисть я наблюдаю, и своего случая жду, чтоб на волю из нашего села пробиться... И знаю, – говорю, – ещё про то, что повсюду, окромя нашего отсталого села, большая слобода женщине дадена, и каждая свою судьбу сама привлекает.

Как вскинется она, и вижу я: слёзы у неё пошли, а глаз взапуски меня наблюдают, но только я хладнокровно ей говорю:

– Вы, маменька, не сумлевайтесь... ненарушенная я, и девичье своё дело тонко веду, а только поклялась я себе над речкой, поклялась над омутом, – вижу: старуха дрожмя дрожать принимается, и режу до конца: – поклялась я, маменька, над тёмным тем омутом, что скорее в омут головою, чем вашей жизнью прожить и от слёз ослепнуть...

– Мы, – отвечает, – честную крестьянскую жизнь прожили, вот она, – говорит, – моя рука, копыто, – говорит, – всю жизнь не разжимала, так и помру с серпом, всегда свои трудовой кусок ели...

– Про то, – отвечаю, – маменька, вам никто и не прекословит, про то теперь и рабочая крестьянская власть дадена, а только жизнь идёт наперёд и на полсапожки с полушалком я никак не согласна...

– На что ж ты, – спрашивает, – согласна, дура горемычная?

– Про то, – говорю, – моя думка знает, про то моё сердце, как воробышек, бьётся...

Тут она и просып всё начистоту:

– Зря ты, Дунюшка, надежду тайшь, – всё одно отец лошади со сбруей тебе не даст... Петяшке, говорит, лошадь... Петяшке и сбрую...

Вижу, очень далеко она вглубь смотрит, а сама думаю: «Ну, ладно, может, мне вашей лошади и не нужно, но пусть уж по-вашему будет»... И стал у неё с того разговору голос очень придирчивый, даже не смотрит на меня, – обедать сядем – норовит куском обнести, два слова скажет, а третьим подавится...

– ... Ты не сумлевайся, Грунюшка, наливай кофейку ещё и сахару клади в накладку... мы в этом нынче не нуждаемся...

Томилась я так – не знай! – год ли два, а всё ж дождалась своего счастья. Приехала к нашему попу тая поповна, что матери кофту за полы дала, была она в Москве акушеркой, – как раз в самую революцию от нас съехала и попу своему сказала очень жестоко: «Вы, говорит, своим происхождением меня навеки уязвили, и одна мне путь-дорога в жизни осталась – акушеркой быть, свободной прохвессией заниматься». Так акушеркой и была, и – слышно было – роскошно в Москве живёт, и замужем за артистом сцены, и ботинки на высоком каблуку почём

зря по будням носит. Да, видно, дочернее-то сердце не стерпело: как стал поп прихварывать, да по советскому времени сам косою на поле махать, – приехала к нему летом навестить, и вижу: шляпка на ей чугуном, и жакетик жёлтого цвету, и ботинки, действительно, на высоком каблук – так в самую грязь ими и чешет. Идет, бывалача, под вечерок по деревне – стадо тебе тут гонют, пылище, бараны мордами в ворота прутся, самая окаянная страда, – идёт она эдак, и понимаю я, что очень она нас, деревенских, жалеет, от гордости от своей жалеет: то ребёнка какого по головке погладит, то пришла раз у роженицы научно дитю принимать, очень, говорила, трудный на практике случай из-за не такого тазу, а баба родимши на другой день куру ей понесла, и не взяла она той куры, и поп по тому случаю вконец огорчился. И так это мне душенька её словно на ладонке видна, и стала я задумываться, что пришёл случай моей жизни, – вон он – идёт по деревне, от пыли платочком обмахивается, и, веришь, девушка? – до того я в задумчивости моей дошла – увижу её, бывало, задрожу вся беспричинно, руки ходунном зайдутся, а в глазах будто кто на огневых колёсах едет. Звать её начала про себя: «вон, Дунюшка, планида твоя идёт, счастье твоё с платочком путешествует»... Ну, по прошествии некоторого время насмелилась я с нею заговаривать. Выдет она куда на лужок или к речке – время в мечте своей провести, а я и вот она: тоже гуляю, словно у меня и делов нет, и Петяшка в люльке не орёт, как оглашенный какой чёрт!..

– Здравствуйте, – прилично говорю, – Клавдия Ивановна! Очень погода нынче чтой-то прелестная...

Усмехнётся она вбочок, губки подкрашенные подберёт:

– Что-й-то ты, Дунюшка, погоду примечать стала... это, – говорит, – не к добру... Мы, – говорит, – люди, погоду не примечаем, пока у нас сердце не тронутое...

Вижу – чюдно она говорит, но догадки, конечно, не даю.

– У нас, – говорю, – какое же сердце?.. Маменька с папенькой нас про сердце не спрашивают...

– Али, – говорит, – спрашивать время пришло?

«Вон, – думаю, – куда сигаешь?» Враз поняла: про Андрюшку намёк даёт, но всё-таки свою линию веду:

– Наша, – говорю, – девичья судьба – что ягода в поле! Одного дня ей цветения... Вся, – говорю, – красота наша деревенская, у кого если она и есть, в один день изничтожается... Наша судьба горькая как полынь-трава, и выхода из судьбы нам нету...

– Что ж, – спрашивает, – так печально на свою жизнь взираешь в молодые годы? Всяк своей жизни кузнец. Всяк, – говорит, – устраивает её, как умеет! – а сама ни к чему на былинку смотрит, и вижу я: на глазу у ней слеза висит, – шутя платочком слезу ту отёрла ей.

«Кузнец-то, – думаю, – кузнец, да вот и ты плачешь! Не очень она легко – жизнь-то ковать, это тебе не подкова какая-нибудь»... Говорю тебе, девушка, откровенно, ужасно я в ту пору сообразительная была и про всякую мысль понимала, словно глазами её видела...

– Не подкова, говоришь? – тихо она это сказала, а потом засмеялась беспричинно и платочек бросила. – Пойдём на реку купаться! Будем, как две русалки, плавать!

Пришли мы в Чёртов Яр, разделась я, она и замечает:

– Очень у тебе тело красивое... много, – говорит, – я по своей практике телов вижу, и к такому печальному выводу пришла, что редко бывает у женщины красивое тело... А если и бывает, разве на деревне...

– А что же, – отвечаю, – нам с тела чай пить, что ли? Вон моя маменька первая на селе красавица была, а какая превратилась теперь моя маменька?

– Не цените, – говорит, – вы красоту... проспали загадку жизни всей, а она и есть одна настоящая правда... У вас, – говорит, – тут – простор, леса, птички поют, у вас, – говорит, – счастье под каждой былинкой живёт, с каждой бабочкой с цветка на цветок перелетает, и в реченьке, как русалка, прячется!

Сняла она рубашечку с кружевом, палталончики наскрозь прошитые, примечаю я – тоненькая, худенькая, и две груди, словно, прости господи, собачьи тити, висят... А я, сама знаешь: грудь как топор, крепкая я, хорошая была...

– Завидую, – говорит, – тебе, Дунюшка, очень завидую твоей первобытной красоте...

И тут-то вот я и насмелилась:

– А я, – говорю, – вам завидую, Клавдия Ивановна... – сказала, а сама захолонула вся...

– Чему ж, – спрашивает, – завидуешь?

– Тому, что жизнь у вас прелестная, что в городе вы, и живёте по своей собственной воле, не на мужниной спине, как таракан на собачьем хвосту...

Сникла она, как цветочек, и отвечает печально:

– Раньше в теремах лучше жили... наше, – говорит, – бабье счастье в терему обретается...

Не поняла я – к чему она про терема указывала, но только стали мы с ней вроде как подружки: всегда идём вместе, в лес ли за ягодами, за грибами, в поле жать ездили... И такая повелась у нас дружба, словно мы с ней родные сёстры, и так выходило, что будто я-то – старшенькая, а она младшенькая, вроде Наталки, и всё говорит мне, бывало: «Твоими устами сама жизнь говорит: поле, лес и река, и ты сама не понимаешь, как всё то замечательно!» Я, конечно, тоже дурочкой прикидываюсь, про цветочки поддакиваю, а на самом деле очень понимаю, к чему мои речи и куда цель веду. А виду ей, конечно, не подаю, да и в самом деле очень к ней привязалась, и за неё от папеньки крутой разговор вынесла. «Какая, – кричит на меня, – она тебе канпания, ты, – говорит, – на выдании, ты про своё дело должна задумываться, а не лясы точить почём зря!» «Папенька, – отвечаю, – каждый своего счастья кузнец, и сказывает моё сердце, что принесёт мне счастье Клавдия Ивановна, и не мешайте мне свой случай обеими руками ухватить!» «Какое, – счастье, ай родить собираешься?» – стал он в ту пору про мои дела с Андрюшкой соображать, – и, верно, очень мне Андрюшка нравился, да только как я – голь перекатная, и всё ходит, бывало, возле нашей избы: то попросит топор, то косу отбить, то ещё чего... «Нет, – отвечаю, – тятенька, не тряситесь от страху, я вас своей судьбой не опозорю, не придётся вам с маменькой по деревне в хомуту бежать» – сама знаешь, как еронично приходится родителям в хомутах, если девка не целая... Однако, ничего! Такого у меня с Андрюшкой не было, держала я в мечте наперёд свою жизнь сковать, а потом их, Андрюшек-то, сколько хошь найдётся, только свистни... Стали мы с ней словно подружки какие, прохаживаемся по полю в обнимку, цветочки-ягоды собираем, или поём. Бывало, зальюсь я в лесу соловьём, хвачу во все груди – только стон по лесу пойдёт, птицы и те примолкают: очень любят птицы человеческую песню слушать. Сядет она под кустиком, где придётся, тоненькое личико ручками подопрёт, и слушает-слушает, словно неживая. Понимаю я, конечно, что у неё на груди своё горе есть – заливаюсь ещё жалостнее, до самого дна песней достаю. Заплачет она, и я плачу вместе с ней, а сама и не знай о чём! А раз принесла ей с почты письмо, – лежала она на бережку под зонтиком, печально смотрела, как паучки по воде вьются и не тонут, – ухватила она то письмо, – дрожит, личико перекоилось, а распечатать боится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.